

Быть княгиней

На балу
и в будуаре



КАК ЖИЛИ ЖЕНЩИНЫ РАЗНЫХ ЭПОХ

Как жили женщины разных эпох

Коллектив авторов

**Быть княгиней. На
балу и в будуаре**

«Алисторус»

2017

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)1-44

Коллектив авторов

Быть княгиней. На балу и в будуаре / Коллектив авторов —
«Алисторус», 2017 — (Как жили женщины разных эпох)

ISBN 978-5-906995-03-2

Пышные кринолины платьев могли достигать диаметра в несколько метров. Высота прически ограничивалась лишь одним – высотой кареты, в которой поедет знатная особа. Умывались далеко не каждый день, чтобы сохранить макияж, а под сотнями оборок платья девушки носили вовсе не элегантные туфли, а самые настоящие валенки, так как даже дворцы не отапливались. Даже княгиням в XVIII веке приходилось непросто, тем интереснее воспоминания величайших женщин своей эпохи, мудро и элегантно правящих бал и меняющих ход истории за чашкой чая. Как в совершенстве овладеть искусством плетения интриг? Как быть хозяйкой бала? Из чего складывалась жизнь княгини в XVIII веке? Читайте, и узнаете!

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)1-44

ISBN 978-5-906995-03-2

© Коллектив авторов, 2017
© Алисторус, 2017

Содержание

Екатерина Романовна Дашкова	6
Записки	7
Письмо княгини Дашковой, адресованное мисс Уильмот	7
Глава I	10
Глава II	15
Глава III	22
Глава IV	27
Конец ознакомительного фрагмента.	31

Вероника Богданова

Быть княгиней. На балу и в будуаре

© Сост. В. Богданова, 2017

© ООО «ТД Алгоритм», 2017

Екатерина Романовна Дашкова

*Дом – дворец роскошный, длинный, двухэтажный,
С садом и с решеткой; муж – сановник важный.
Красота, богатство, знатность и свобода –
Все ей даровали случай и природа.
Только показала – и над светским миром
Солнцем засияла, вознеслась кумиром!
Воин, царедворец, дипломат, посланник –
Красоты волшебной раболепный данник;
Свет ей рукоплещет, свет ей подражает.
Властвует княгиня, цепи налагает,
Но цепей не носит, прихоти послушна,
Ни за что полюбит, бросит равнодушно:
Ей чужое счастье ничего не стоит –
Если и погибнет, торжество удвоит!*

Н. Некрасов

Княгиня Екатерина Романовна Дашкова (1743–1810), урожденная графиня Воронцова. Подруга и сподвижница будущей императрицы Екатерины II, активнейшая участница государственного переворота 1762 года. После восшествия на престол Екатерина II охладела к подруге, и княгиня Дашкова не играла заметной роли в делах правления.

Одна из заметных личностей Российского Просвещения, стоявшая у истоков Академии Российской. В ее мемуарах содержатся ценные сведения о времени правления Петра III и о воцарении Екатерины II.

Записки

Письмо княгини Дашковой, адресованное мисс Уильмот

Приступая к описанию своей жизни, я удовлетворяю вашему желанию, мой молодой и любезный друг. Перед вами картина жизни беспокойной и бурной или, точнее говоря, печальной и обремененной затаенными от мира тревогами сердца, которых не могли победить ни гордость, ни мужество. В этом отношении я могу назвать себя мучеником принуждения; я говорю мучеником, потому что скрывать свои чувства и представлять в ложном свете всегда было противно и невыносимо тяжело для моей природы.

Уже давно мои друзья и родственники требовали от меня тот труд, который теперь посвящаю вам. Я отклонила все их просьбы, но не могу отказать вам. Итак, примите историю моей жизни, грустную историю, из которой легко было бы составить увлекательный роман. Она с вашим именем явится в свет. Я писала ее без приготовления, так, как я говорю, и с полной откровенностью, устоявшей против всех горьких уроков опыта. Правда, я обошла молчанием или только слегка коснулась тех душевных потрясений, которые были следствием неблагодарности людей, обманувших мое безграничное доверие им. Это единственные факты, обойденные мной; одно воспоминание о них еще доселе приводит меня в трепет.

Из моего рассказа будет видно, как опасно плыть на одном корабле с «великими мира сего» и как придворная атмосфера душит развитие самых энергических натур; за всем тем совесть, свободная от упрека, может дать нам достаточно сил – чтобы обезоружить твердостью души свирепость тирана и спокойно перенести самые несправедливые гонения. Здесь же мы найдем пример, как зависть и ее верная подруга – клевета – преследуют нас на известной степени славы.



Екатерина Романовна Дашкова (1743–1810) – Княгиня Российской империи, директор Санкт-Петербургской Императорской академии наук. Одна из заметных личностей Российского Просвещения, стоявшая у истоков Академии Российской. В ее мемуарах содержатся ценные сведения о времени правления Петра III и о воцарении Екатерины II. Художник – Д. Г. Левицкий

Когда мне было уже шестьдесят лет, когда я вынесла много несчастий, болезней, жестокое изгнание и в уединении посвятила себя благу своих крестьян, мой взор в первый раз обратился к прошедшему; и я увидела всю ложь и пристрастные обвинения, распространенные некоторыми французскими писателями против Катерины большой, но вместе с тем они не пощадили по дороге своего злословия и ее друга, Катерину маленькую. В этих памфлетах ваша Дашкова очернена всеми пороками, совершенно чуждыми ее характеру; у одних она является женщиной самого преступного честолюбия, у других – грубой развратницей.

После этого легко понять, что самая нравственная жизнь, проведенная большей частью вдали от света, чему не многие умеют дать настоящую цену, тем меньше – завидовать ей, и эта жизнь не могла укрыться от пера злонамеренного памфлетиста. Хотя Екатерина II желала и искала средств против зла, внесенного во Францию мистиками и философами-самозванцами, хотя они боялись могущества великой и страшной царицы; но, вероятно, они думали отомстить за себя, с озлоблением нападая на женщину, не имевшую влияния на правление, и старались отнять у нее то, что для нее всего дороже – чистую репутацию.

Такова, впрочем, была моя горькая участь: когда судьба лишила меня нашей образованной государыни, когда я не могу больше пользоваться ее личным расположением или радоваться счастью страны, управляемой ею, враги ее принесли меня на жертву едкой клеветы.

Но, конечно, и это зло, как и все в мире, пройдет. Поэтому позвольте лучше поговорить с вами, мой милый и юный друг, о том, что ближе к нам – о нашей взаимной и нежной дружбе; я невыразимо глубоко чувствую ваше доверие ко мне; и вы не могли лучше доказать ее, как покинув семейство и родину, чтобы посетить меня здесь и утешить своим присутствием старую женщину на закате дней ее, которая справедливо может похвалиться одним достоинством, что она не прожила ни одного дня только для себя самой.

Нужно ли говорить о том, как дорого для меня ваше присутствие, как я уважаю и удивляюсь вашим талантам, вашей скромности, вашей врожденной веселости, соединенной с чистыми побуждениями вашей жизни? Нет надобности говорить и о том, как вы облегчили, освежили мое существование. И где я возьму выражения, способные верно передать эти впечатления? Поэтому я ограничусь одним простым уверением, что я уважаю, люблю и удивляюсь вам со всей силой любящего сердца; вы его знаете и поверите, что эти чувства прекратятся только с последним вздохом вашего искреннего друга княгини Дашковой.

Троцкое, 27 октября 1805 года

Глава I

Я родилась в Петербурге в 1744 году, примерно около того времени, когда императрица Елизавета возвратилась из Москвы после своей коронации. Государыня приняла меня от купели, а племянник ее, великий князь, впоследствии император Петр III, был моим крестным отцом. Эту честь я могла бы приписать женитьбе моего дяди, канцлера, на двоюродной сестре Елизаветы, но я больше обязана этим чувству дружбы ее к моей матери, которая во время прежнего царствования великодушно и, нельзя не прибавить, очень деликатно помогала великой княгине деньгами, а она часто нуждалась в них, потому что сорила ими много, а получала мало.

Я имела несчастье потерять свою мать на втором году жизни и узнала о ее прекрасных качествах только от тех друзей и лиц, которые с чувством признательности вспоминали о ней.

Во время этого события я находилась у своей бабушки, в одной из ее богатых деревень. С трудом она расставалась со мной, когда мне шел четвертый год, чтобы отдать меня на воспитание в менее ласковые руки. Впрочем, мой дядя, канцлер, вырвал меня из теплых объятий этой доброй старухи и стал воспитывать вместе со своей единственной дочерью, впоследствии графиней Строгановой. У нас были одни учителя, одни комнаты, одна одежда. Все внешние обстоятельства, казалось, должны были образовать из нас совершенно одинаковые существа; и при всем том во все периоды нашей жизни между нами не было ничего общего: эту черту не мешает, между прочим, заметить тем педагогам, которые обобщают системы воспитания и методически предписывают правила относительно столь важного предмета, доселе, впрочем, худо понятого; и если принять во внимание разнообразие и глубину этого вопроса, то едва ли можно втиснуть его в одну общую теорию.

Я не стану распространяться о фамилии своего отца. Древность ее и блистательные заслуги моих предков ставят имя Воронцовых на таком видном месте, что моей родовой гордости нечего больше желать в этом отношении. Граф Роман, мой отец, второй брат канцлера, был человек разгульный и в молодости лишился моей матери. Он мало занимался своими делами и потому охотно передал меня дяде. Этот добрый родич, признательный моей матери и любивший своего брата, с удовольствием меня принял.

У меня были две сестры: старшая – Марья, после замужества графиня Бутурлина, вторая – Елизавета, впоследствии Полянская; они скоро были замечены императрицей и еще в детстве назначены фрейлинами, жившими при дворе. Александр, мой старший брат, безотлучно находился с отцом, и я только его одного знала с младенчества: мы имели случай часто видаться, и таким образом между нами с ранней поры возникла привязанность, которая с годами превратилась во взаимное доверие и дружбу, до настоящей минуты сохраненную. Мой младший брат Семен жил в деревне со своим дедушкой, и я редко видела его даже по возвращении его в город. Сестер я встречала еще реже. Останавливаюсь на этих обстоятельствах, потому что они в некотором отношении имели влияние на мой характер.

Мой дядя ничего не жалел, чтобы дать нам лучших учителей, и по тому времени мы были воспитаны превосходно. Нас учили четырем языкам, и по-французски мы говорили свободно; государственный секретарь преподавал нам итальянский язык, а Бехтеев давал уроки русского, как плохо мы ни занимались им. В танцах мы показали большие успехи и несколько умели рисовать.

С такими претензиями и наружным светским лоском кто мог упрекнуть наше воспитание в недостатках? Но что было сделано для образования характера и умственного развития? Ровно ничего. Дядя не имел времени, а тетка – ни способности, ни призвания.

Я по природе была гордой, и эта гордость соединялась с какой-то необыкновенной чувствительностью и мягкостью сердца; потому одним из пламенных моих стремлений было жела-

ние быть любимой всеми, кто окружал меня, и притом так же искренне, как я любила их. Это чувство, когда мне исполнилось тринадцать лет, до такой степени укоренилось во мне, что я, добиваясь расположения тех людей, которым мое юношеское и восторженное сердце было горячо предано, вообразила, что я не могу найти ни взаимного сочувствия, ни ответа на свою любовь; вследствие этого я скоро разочаровалась и считала себя одиноким существом.

В таком странном настроении духа мое разочарование в дружбе послужило на пользу моему воспитанию, по крайней мере в той степени, в какой это было необходимо развитию моего рассудка. Около этого времени я заболела корью; по силе указа, изданного по этому случаю, было запрещено всякое сношение с двором тех семейств, которые страдали оспой, из опасения заразить великого князя Павла. Едва возникли первые симптомы моей болезни, меня послали за семьдесят верст от Петербурга в деревню.

Во время этого случайного изгнания я находилась под надзором одной немки, жены русского майора. Эти люди, одинаково холодные, не вызвали во мне никакого юношеского расположения к себе. Я не питала к ним ни малейшей симпатии, а когда болезнь ослабила мое зрение, я лишилась последнего утешения – читать книги. Моя первоначальная резвость и веселость уступили место глубокой меланхолии и мрачным размышлениям обо всем, что окружало меня. Я сделалась серьезной и мечтательной, неразговорчивой и никогда без предварительно обдуманного плана не удовлетворяла своей любознательности.

Как только я могла приняться за чтение, книги сделались предметом моей страсти. Бейль, Монтескье, Буало и Вольтер были любимыми авторами; с этой поры я стала чувствовать, что время, проведенное в уединении, не всегда тяготит нас, и, если прежде я искала с детским увлечением одобрения со стороны других, теперь я сосредоточилась в самой себе и стала разрабатывать те умственные инстинкты, которые могут поставить нас выше обстоятельств. Прежде чем я возвратилась в Петербург, брат мой, Александр, отправился в Париж; так я лишилась его нежного внимания и тем больше грустила, чем меньше встречала сочувствия вокруг себя. Впрочем, забываясь среди книг или развлекаясь музыкой, я горевала только тогда, когда покидала свою комнату. Я просиживала за чтением иногда целые ночи с тем умственным напряжением, после которого следовала бессонница, и на взгляд казалась до того болезненной, что мой почтенный дядя беспокоился за мое здоровье, в чем приняла участие и императрица Елизавета. По ее приказанию много раз посетил меня первый ее медик, Бургав; он с особенным вниманием занялся мной и нашел, что общее здоровье еще не повреждено и болезненное мое состояние, возбуждавшее опасения со стороны моих друзей, происходило больше от нравственного нерасположения, чем от физического расстройства. Вследствие этого мнения стали осаждать меня тысячами вопросов, но я не призналась в истине, да едва ли и сама могла понять ее; но если бы я и сумела объяснить, то скорее возбудила бы упреки, чем симпатию и участие к себе. Говоря об особенностях своего ума, я должна также упомянуть о той гордости и раздражительности, которые, не встретив осуществления романтических видений фантазии, заставили меня искать это воображаемое счастье внутри себя. Таким образом, я решила таить свои чувства, и в то время, когда мое лицо покрывалось бледностью и видимым изнеможением, что я приписывала слабости нервов и головным болям, мой ум постепенно мужал среди своих ежедневных трудов. В следующий год, перечитывая во второй раз сочинение Гельвеция «О разуме», я была поражена мыслью, о которой упоминаю здесь потому, что она оправдалась перед судом более зрелого моего размышления. Вот это мнение: если бы только произведение Гельвеция не сопровождалось вторым томом, где развивается теория, более отвечающая принятым мнениям и существующему порядку вещей, то его учение в последних своих результатах расстроило бы гармонию и связи образованных обществ.

Политика с самых ранних лет особенно интересовала меня¹.

¹ Княгиня рассказывала мне, что еще в детстве она иногда получала позволение от своего доброго дяди пересмотреть ста-

Все иностранцы, артисты, литераторы и посланники, посещавшие дом моего дяди, подвергались попытке от моей неугомонной любознательности. Я расспрашивала их о чужих краях, о формах правления и законах; и сравнения, выводимые из ответов, пробудили во мне горячее желание путешествовать. Но в это время у меня не доставало духу пуститься в такое предприятие. Между тем мрачные предчувствия скорби и горя, обыкновенные спутники нежных темпераментов, рисовали передо мной все мое будущее, и я содрогалась при созерцании тех зол, с которыми не в силах была бы бороться. Шувалов, любовник Елизаветы, желавший прослыть меценатом своего времени, узнав, что я страстно люблю читать книги, предложил мне пользоваться всеми литературными новинками, которые постоянно высылались ему из Франции. Это одолжение было источником бесконечной радости для меня, особенно когда я на следующий год после своего замужества поселилась в Москве; в здешних книжных лавках было не многим больше того, что я уже перечитала, и некоторые из этих сочинений имела в своей собственной библиотеке, состоявшей почти из 900 томов; я употребила на эту коллекцию все свои карманные деньги. Энциклопедия и словарь Мореры были приобретены в том же году; никогда никакие самые изящные и ценные игрушки не доставляли мне и половины того удовольствия, которое я чувствовала при этом приобретении. Любовь моя к брату Александру во время его путешествия дала мне случай завести с ним правильную переписку. Каждый месяц два раза я уведомляла его обо всех новостях придворных, городских и военных; этой корреспонденции я обязана образованием своего слога, хотя и не могу судить о его достоинствах.

В продолжение июля и августа 1759 года, когда мои дядя, тетка и двоюродный брат посетили государыню в Царском Селе, я осталась одна в городе, потому что не совсем хорошо себя чувствовала, притом мои литературные занятия и уединение все больше и больше нравились мне. За исключением итальянской оперы, которую я слушала один или два раза, никогда не показывалась в свете; из частных домов я посещала семейство князя Голицына, где любили меня и жена, и муж — очень умный и уважаемый старик; потом я бывала у Самариной, супруги одного из домашних чиновников моего дяди. Однажды вечером Самарина пригласила меня к себе; она была нездорова. Я осталась у нее ужинать и потому отпустила свою карету, с тем чтобы к одиннадцати часам она воротилась и привезла мне горничную девушку проводить меня домой. Был чудесный летний вечер, когда карета приехала за мной, и так как улица, где жила Самарина, была спокойная, то ее сестра предложила проводить меня пешком до конца этой улицы; я охотно согласилась и приказала кучеру подождать меня там. Едва мы прошли несколько шагов, как перед нами очутилась высокая фигура, вынырнувшая из другой улицы; воображение мое под влиянием лунного света превратило это явление во что-то колоссальное. Я испугалась и спросила свою спутницу, что это значит. И в первый раз в моей жизни услышала имя князя Дашкова. Он, по-видимому, очень коротко был знаком с семейством Самариной; между нами завязался разговор. Незнакомый князь случайно заговорил со мной, и его вежливый и скромный тон расположили меня в его пользу. В этой нечаянной встрече и взаимном более чем благоприятном нашем впечатлении я видела особые следы провидения, предназна-

рые дипломатические бумаги, и это доставляло ей величайшее удовольствие. А в этом хламе было много очень любопытных документов, из которых два особенно резко запечатлелись в ее памяти, сильнее других затронув детское воображение. Первый документ — письмо от персидского шаха к Екатерине I по случаю ее восшествия на престол. После обычных приветствий шах выражался почти так: «Я надеюсь, моя благоволюбленная сестра, что Бог не одарил тебя любовью к крепким напиткам; я, который пишу тебе, имею глаза, подобные рубинам, нос, похожий на карбункул, и огнем пылающие щеки; и всем этим обязан несчастной привычке, от которой я и день и ночь валяюсь на своей бедной постели». Известная наклонность императрицы попивать водку сообщает этому письму особенный интерес. Другой документ открывает следующий факт, и я передаю его собственными ее словами. Русский двор однажды (я забыла, в чье царствование) послал посольство в Китай поздравить его монарха с принятием короны; посланник, принятый не совсем ласково, поспешил возвратиться домой, недовольный своей миссией. Русское правительство, заблагорассудив не сознаваться в китайском неуважении к своей политике, отправило других — поблагодарить за лестный прием первую посла и заключить торговый трактат. Вот какой ответ был дан китайским властью: «Вы очень странный народ; чванитесь приемом ваших послов. Разве вы не слышали, что когда мы проезжаем верхом по улицам, то предупреждаем последнего бродягу не смотреть на нас». (Примечание мисс Уильмот.)

чившего нас друг другу. Знакомство, заведенное так оригинально, было трудно поддержать; и будь оно иначе и если бы его имя было когда-нибудь упомянуто в доме моего дяди (вероятно, по одному делу, в котором он был неудачно замешан), во мне образовалось бы предубеждение против нашего союза. При таких обстоятельствах наша неизвестность была общим нашим другом и положила основание постепенно возраставшей любви. Князь скоро почувствовал, что его счастье зависит от нашего соединения, и, как только получил мое согласие, немедленно попросил князя Голицына похлопотать за него у моего дяди и отца, но в то же время хранить тайну до тех пор, пока он не получит благословения от своей матери, жившей в Москве.



Князь Михаил (Кондрат) Иванович Дашков (1736–1764) – русский дипломат из рода Дашковых, известный главным образом как муж графини Екатерины Романовны Воронцовой

Со стороны моих родственников не было никакого возражения, и его мать, которая давно желала видеть его женатым, когда не успела соединить его с девушкой по своему собственному выбору, душевно одобрила его планы и согласилась на наш брак.

Одним вечером, незадолго до отъезда моего жениха в Москву к своей матери, Елизавета захала к нам ужинать из итальянской оперы; ее провожали только мой дядя и Шувалов. По ее предварительному желанию, я на этот раз осталась дома, и князь Дашков находился со мной. Внимание государыни к нам было очень обязательное; в продолжение этого вечера, отозвав нас в другую комнату, она необыкновенно ласково, как крестная мать, сказала нам, что наша тайна ей известна и что она желает нам полного счастья. Она с похвалой отзывалась об уважении князя к его матери и, отпустив нас в общество, сказала ему, что фельдмаршалу Бутурлину приказано уволить его в Москву. Доброта, нежное расположение и участие государыни в нашей судьбе так глубоко тронули меня, что я не могла скрыть своего волнения. Императрица, заметив это, легонько ударила меня по плечу и, поцеловав в щеку, промолвила: «Оправься, мое милое дитя, иначе ваши друзья подумают, что я выбрала тебя». Никогда я не забуду этой сцены, которая навсегда привязала меня к этой добросердечной государыне.

Зимой также посетил и ужинал у нас великий князь, будущий потом Петр III, с его супругой, впоследствии Екатериной II. Благодаря многим посетителям моего дяди я уже была известна великой княгине как молодая девушка, которая проводит почти все свое время за учением, причем, разумеется, было прибавлено много и других лестных отзывов. Уважение, которым она впоследствии почтила меня, было результатом этой дружеской предупредительности; я отвечала на него с полным энтузиазмом и преданностью, которая потом бросила меня в такую непредвиденную сферу и имела большее или меньшее влияние на всю мою жизнь. В ту эпоху, о которой я говорю, наверное, можно сказать, что в России нельзя было найти и двух женщин, которые бы, подобно Екатерине и мне, серьезно занимались чтением; отсюда, между прочим, родилась наша взаимная привязанность, и так как великая княгиня обладала неотразимой прелестью, когда она хотела понравиться, легко представить, как она должна была увлечь меня, пятнадцатилетнее и необыкновенно впечатлительное существо.

В продолжение этого памятного для меня вечера великая княгиня говорила почти исключительно со мной и очаровала меня своей беседой. По высокому тону ее чувств и степени образования нетрудно было заметить женщину редких дарований, той счастливой природы, которая превзошла самые смелые мои мечты. Вечер прошел быстро, но впечатление от него сохранилось навсегда и отразилось в ряде тех событий, о которых я расскажу после.

Когда Дашков возвратился из Москвы, он, не теряя ни минуты, представился всему нашему семейству; но по причине болезни моей тетки свадьба была отложена до февраля. Едва она немного оправилась, нас обвенчали в самом искреннем кругу близких людей; и, когда тетка совершенно выздоровела, мы уехали в Москву.

Здесь новый мир открылся передо мной, новые связи, новые обстоятельства. Я говорила по-русски очень дурно, а свекровь моя, на беду, не говорила ни на одном иностранном языке. Родственники моего мужа были большей частью людьми старого покрова, и, хотя они любили меня, я, однако же, заметила, что, будь я больше москвитянкой, я нравилась бы им еще больше. Поэтому я ревностно стала изучать отечественный язык и так быстро успевала, что заслужила всеобщие рукоплескания со стороны моих родственников; я искренне уважала их и тем приобрела их дружбу, которая не изменилась даже после смерти моего мужа.

Глава II

Через год после моего замужества, 21 февраля, у меня родилась дочь, а в мае мы провожали свою свекровь в ее имение – Троицкое. Книги и музыка были нашим неперменным удовольствием; с помощью их время проходило легко. В июле князь Дашков и я отправились в его орловское поместье и отсюда возвратились в Москву; когда его отпуск кончился, мы написали моему отцу в Петербург, прося его похлопотать о новой отсрочке.

Императрица Елизавета постарела и ослабела; куртизаны начали увиваться около наследника. Это обстоятельство дало великому князю более безусловный контроль над Преображенским полком, которым он командовал и в котором князь Дашков служил вторым капитаном. Поэтому просьба его об увольнении еще на пять месяцев была представлена Петру; беспокойство князя по случаю моей второй беременности заставило его требовать новой отсрочки. Наследник, прежде чем дал позволение, пожелал видеть Дашкова в Петербурге – может быть, чтоб выразить ему свою особенную милость, как предполагал мой отец, он советовал зятю немедленно ехать. Я безутешно грустила при этой разлуке – мне было так тяжело подумать о ней, что я перестала наслаждаться своим обычным счастьем даже в присутствии мужа. Здоровье мое стало плохим, и 8 января, когда князь оставил Москву, я заболела лихорадкой, сопровождаемой припадками горячки. Это было следствием сильного нервного раздражения; но я скоро выздоровела, и это зависело, по моему мнению, от того, что я не хотела принимать лекарств. Через несколько дней я чувствовала только небольшую слабость. Часто я плакала, и, если бы не боялась наскучить мужу постоянными повторениями о своей печали, я писала бы ему беспрерывно; но милое внимание его младшей сестры к моему здоровью избавило меня от этой опасной жертвы.

Коснувшись этих чувств и страданий, я должна заметить, что мне еще не было полных семнадцати лет и я в первый раз расставалась с мужем, которого пламенно любила.

Великий князь принял Дашкова очень благосклонно. Он участвовал в зимних прогулках Петра в Ораниенбаум; к сожалению, эти разъезды в жестокие холода подвергли моего мужа опасной простуде, последствия которой могли быть роковыми. Когда наступило время возвратиться в Москву, он был еще болен; не желая, однако, разочаровывать наших тревожных ожиданий, он покинул Петербург и скакал день и ночь, не выходя из кареты до самой Москвы. Подъезжая к городской заставе, он опять почувствовал сильное воспаление в горле; боясь испугать нас своим появлением в таком болезненном состоянии и будучи не в силах произнести ни одного слова, он кое-как добрался до дома своей тетки, Новосильцевой, в надежде сколько-нибудь оправиться у нее. Тетка, увидев больного племянника, немедленно уложила его в постель. Явился доктор; он советовал не выпускать пациента из комнат; поэтому тетка приказала задержать лошадей с той целью, чтобы на следующее утро, если князю будет лучше, отпустить его в дом матери, как будто с ним ничего особенного не случилось. В это самое время у нас происходила другая сцена, о которой я доселе не могу вспомнить без содрогания.

Свекровь моя и сестра ее, княгиня Гагарина, помогавшая мне при первых родах, каждый вечер собирались вместе с акушеркой в моей комнате и с часу на час ожидали моего разрешения; при мне служила одна горничная, глупая девчонка моих лет. Когда я вышла из комнаты, она воспользовалась этим моментом и скороговоркой сообщила мне о приезде князя Дашкова в Москву. Я вскрикнула; к счастью, этого не слышали в соседней комнате. Между тем ветреная служанка продолжала рассказывать мне, что он находится в доме тетки и что дано строгое приказание молчать об этом.

Чтобы представить мои муки в эту минуту, не надо забывать, что для меня разлука с молодым мужем была верхом несчастья, тем более что я легко увлекалась всем и с трудом могла управлять своим чувством, живым и пылким от природы, как я уже об этом сказала.

Впрочем, я употребила все усилия, чтобы успокоиться, и вошла в свою комнату с самым хладнокровным видом; уверив княгиню, что минута моего разрешения должна последовать позже, чем мы думали, я уговорила ее вместе с теткой удалиться в свои покои отдохнуть, причем торжественно обещала позвать их в случае крайней надобности.

Затем я побежала к бабке и умоляла ее именем неба проводить меня. Я и теперь не могу забыть этих кровью налитых глаз, этого дикого взгляда, которым она окинула меня. Старуха вполне была убеждена, что я спятила с ума, и на ее природном силезском наречии начала бесконечное увещание: «Нет, я не хочу отвечать перед Богом за убийство невинных». Не один раз я останавливала ее; наконец, отчаявшись склонить, я сказала решительно, что если только не увижу князя своими собственными глазами, то не переживу своих сомнений о его несчастье, и если она не согласится проводить меня к тетке, никакая сила не удержит меня и я решаюсь идти одна. После всего этого старуха сдалась; но, когда я предложила ей идти пешком, чтобы не возбудить подозрения шумом саней и лошадей, она снова оторопела; я представила ей всю опасность и ужас в случае открытия нашего предприятия и тем окончательно убедила ее. Бабка уступила и при помощи одного старика, жившего в доме и читавшего молитвы моей свекрови, свела меня с лестницы. Но едва мы переступили несколько ступеней, как боли мои усилились; провожатые, перепугавшись, старались увести меня назад. Теперь я, в свою очередь, была непреклонна и ухватилась за перила так, что ни сила, ни угроза не могли оторвать меня.

Наконец, с трудом мы сошли с лестницы и после новых мучительных припадков добрались до дома тетки.

Не знаю, как я поднялась по высокой лестнице, которая вела в комнаты моего мужа. Одно помню: когда при входе я увидела его бледным и лежавшим на постели, я грохнулась без чувства на пол и в этом положении была принесена домой на носилках лакеями Новосильцевой. К счастью, это похождение осталось тайной для моей свекрови. Затем начались страдания родов; они привели меня в чувство. Было одиннадцать часов ночи; я послала за теткой и свекровью и через час родила сына Михаила. Первым моим побуждением было известить князя о благополучном исходе; незаметно для других я прошептала горничной приказание отправить доброго старика с этой радостной новостью.

Впоследствии я часто вздрагивала при воспоминании об этом вечере и той сцене, которую Дашков передал после. Когда я показалась со своей разнохарактерной свитой в его комнате, принял меня за сновидение, но оно скоро исчезло, и глазам его представилась действительность, он увидел меня упавшей на пол. Обеспокоенный опасностью моего положения, негодующий по поводу открытия тайны, он вскочил с постели и хотел следовать за мной домой; но тетка его, поднятая на ноги тревогой всего дома, немедленно явилась и со слезами на глазах заклинала его пожалеть свою жизнь и послушаться ее совета. Состояние его было ужасно до той минуты, пока не известили его о моем спасении; тогда он перешел от необузданного горя к необузданной радости. Спрыгнув с постели, он обнял моего посла, облобызал его с восторгом, танцуя и плача попеременно; князь бросил старику кошелек с золотом и приказал послать попа немедленно служить благодарственный молебен, на котором хотел сам присутствовать; одним словом, во всем доме был торжественный праздник. Все было тихо до шести часов утра, это был обыкновенный час княгининой молитвы, и вдруг почтовые лошади подкатали с Дашковым к нашим дверям. Его мать, к несчастью, не выходила; услышав стук экипажа, она бросилась встретить сына на лестнице. Бледное лицо и обвязанное горло тотчас обличили его состояние, и если бы он не заключил ее в своих объятиях, то произошла бы другая трагическая сцена. Мы так страстно любили его, что эта самая любовь могла быть источником домашнего несчастья: на этот раз так именно и случилось. В замешательстве он провел свою мать вместо ее комнаты в мою, и наше свидание показалось ей вовсе не таким восторженным, как следовало ожидать. Успокоившись, она приказала сделать постель для своего сына в комнате, смежной

с моей, и, опасаясь за мое здоровье, запретила говорить нам между собой. Эта предосторожность, конечно благоразумная, не нравилась мне: я хотела быть его кормилицей и ежеминутно, собственным своим глазом, следить за постепенным его выздоровлением – любовь находчива, и я придумала средства для наших взаимных сношений. Каждым моментом, свободным от постороннего наблюдения, мы пользовались для коротенькой переписки, полной той нежности, которую более холодные умы могли бы счесть за детскую глупость, хотя я искренне пожалела бы о бездушности этих критиков.

Сорок грустных лет, которые я имела несчастье пережить после своего обожаемого супруга, прошло со времени его потери, и ни за какие блага мира я не желала бы опустить воспоминание о самом мелком обстоятельстве из лучших дней моей жизни. Гонцом для нашей секретной корреспонденции мы употребили старую сиделку, обязанность которой состояла в том, чтобы быть по ночам у моей постели. Полусонная, едва держась на ногах, она ковыляла из одной комнаты в другую. По прошествии трех дней наш Меркурий, вероятно из жалости к моим глазам, обратился в доносчика: тайна была выдана нашей матери, которая прочла нам приличное наставление и грозила спрятать чернила и бумагу. К счастью, мой муж скоро оправился и получил позволение сидеть у моего изголовья, пока я выздоравливала. Мы отменили нашу поездку в деревню, потому что думали скоро отправиться в Петербург. Назначенный для выезда день много раз откладывался из уважения к настоятельным просьбам его матери. Наконец, мы поднялись и прибыли в Петербург 28 июня – день, которому суждено было через двенадцать месяцев сделаться замечательным и славным днем для моего Отечества.

Это путешествие было для меня величайшим наслаждением. Я желала увидеть своих родных, образ жизни которых вполне отвечал моим наклонностям и был так отличен от всего того, что окружало меня в Москве. В особенности мне приятно было посетить моего дядю, где образованное и истинно светское общество было предметом моего удивления, а великолепная обстановка его дома, украшенного в европейском вкусе, давала ему полное право называться княжеской палатой. Когда мы въехали в город, каждый предмет доставлял мне новое удовольствие. Петербург никогда не казался мне так хорош, мил и роскошен. Все было одушевлено жизнью моей собственной мысли; инстинктивно опустив окно кареты, я надеялась встретить в каждом мимо проходящем друга или родственника и на всех смотрела глазами старого знакомого. Мной овладел лихорадочный восторг, прежде чем мы подъехали к воротам. Устроив комнату для своей дочери по соседству с собой, я поспешила увидеть отца и дядю, совершенно забыв, что они жили на дачах. На следующий день нас навестил отец и сообщил нам новое придворное распоряжение, по которому офицеры гвардейского Преображенского полка, приглашенные великим князем в Ораниенбаум, должны были явиться туда с их женами; мы были поименованы в числе гостей. Это приглашение было для меня очень неприятным; я не любила стеснения дворцовой жизни, притом мне жалко было расставаться со своей малюткой. Впрочем, отец помог моему горю: он предложил нам свой загородный дом между Ораниенбаумом и Петербургом, и мы очень удобно расположились в нем.



Китайский дворец является частью дворцово-паркового комплекса Собственной дачи императрицы Екатерины II. Возведенный в 1762–1768 годах по проекту Антонио Ринальди. Название «Китайский дворец», возникшее в 1774 году, возникло вследствие того, что в декоре дворца было использовано много оригинальных произведений китайского искусства

На другой день мы отправились с визитом во дворец. Наследник, как только мы представились ему, обратился ко мне, насколько я могу помнить, со следующей речью: «Хотя вы и не хотели жить в моем дворце, но я надеюсь видеть вас каждый день и думаю, что вы уделите мне больше вашего времени, чем обществу великой княгини». Я ничего особенного не сказала на это, но решила бывать здесь только в самых крайних случаях, чтобы не подать повода к неудовольствию. Это самопожертвование было неизбежным, чтобы видиться с Екатериной и поддерживать ее дружеское расположение, в котором я каждый день все больше и больше убеждалась. Отчуждение мое от партии Петра и решительное предпочтение его супруге было замечено, и он скоро дал мне это почувствовать. Однажды, отозвав меня в сторону, он удивил меня своим замечанием, вполне достойным его нехитрой головы и простого сердца. Выражение этого замечания так далеко было по духу своему от его обыкновенного разговора, что я долго не переставала изумляться, пока не открыла то лицо, которое на этот раз правило его мозгом. «Дитя мое, – сказал он, – вам бы не мешало помнить, что водить хлеб-соль с честными дураками, подобными вашей сестре и мне, гораздо безопаснее, чем с теми великими умниками, которые выжмут из апельсина сок, а корки бросят под ноги». Я ничего не поняла из этого намека и с полной наивностью ответила ему, что тетка его, императрица, совсем иначе выражала свои желания – она советовала платить дань равного почтения как великому князю, так и великой княгине. Здесь я не могу не отдать справедливости моей сестре Елизавете, которая хорошо знала различие наших характеров и не требовала от меня того раболепного внимания к себе, на какое она получила право по своему положению от остальной придворной толпы. Между тем я увидела, что всегда избегать общественного круга наследника было невозможно. Это общество иногда принимало вид казармы, где табачный дым и его голштинские генералы были любимым развлечением Петра. Эти офицеры были большей частью капралы и сержанты прусской армии, истинные дети немецких сапожников, самый нижний осадок народных слоев;

и эта сволочь нищих генералов была по плечу такому государю! Вечера обыкновенно оканчивались ужинами, пирами в зале, увешанной сосновыми ветвями и носившей немецкое название, свойственное вкусу подобных украшений и модной фразеологии этого общества; разговор происходил на таком диком полунемецком языке, что некоторое знание его было совершенно необходимо тому, кто не хотел сделаться посмешищем в этой августейшей сходке.

Иногда великий князь переносил свои праздники в загородный домик недалеко от Ораниенбаума, где по причине тесноты покоев могло собираться небольшое общество; здесь скучные вечера сокращались пуншем и чаем, в облаках табачного дыма, за чудовищной игрой в *Campis*. Какой разительный контраст во всем этом был с умным, изящным и благопристойным обществом великой княгини! Под влиянием такой прелести я не могла ни на одну минуту колебаться в выборе своей партии; и если я видела со стороны Екатерины постоянно возрасставшее расположение к нам, то ясно было и то, что искреннее меня и моего мужа никто не был ей предан.

Государыня жила в Петергофе, где ей было позволено один раз в неделю видеть своего сына Павла. На обратном пути отсюда она обыкновенно заезжала к нам и увозила меня с собой проводить вместе остаток вечера. Я получала от нее записки, если нам что-нибудь мешало видаться лично; и таким образом между нами завязалась искренняя и откровенная переписка, которая продолжалась и после, а за ее отсутствием одушевляла и скрепляла мою душевную привязанность к Екатерине; выше этой привязанности была лишь любовь к мужу и детям.

В одно из собраний, данных великим князем во дворце, где присутствовала и Екатерина, сидевшая на конце стола, разговор перешел на Челищева, гвардейского юнкера, которого подозревали в любовных связях с графиней Гендриковой, племянницей Петра. Наследник, чрез меру воодушевленный винными парами, в духе настоящего прусского капрала поклялся, что он в пример другим офицерам прикажет казнить того за эту дерзкую любовь с царской родственницей. Пока его голштинские паразиты выражали мимикой глубокое уважение к великокняжеской мудрости, я не могла удержаться от замечания, что рубить голову слишком жестоко, что, если бы и было доказано подозрение, во всяком случае такое ужасное наказание превышает меру преступления. «Вы совершенное дитя, – сказал он, – как это видно из ваших слов; иначе вы знали бы, что отменить смертную казнь – значит разнуздать всякую непокорность и всевозможные беспорядки». – «Но, государь, – продолжала я, – вы говорите о таком предмете и таким тоном, что все это должно сильно обеспокоить настоящее собрание; за исключением этих почтенных генералов, почти все, имеющие честь сидеть за вашим столом, жили в то царствование, в которое не было и помину о смертной казни». – «Ну что ж, – возразил великий князь, – это еще ничего не доказывает, или, лучше, потому-то именно у нас нет ни порядка, ни дисциплины; но я повторяю, что вы дитя и ничего не смыслите в этом деле». Затем глубокое молчание, и беседа, если только можно назвать ее беседой, осталась за мной и Петром. «Положим, государь, что вы правы; но нельзя же отрицать и того обстоятельства, что ваша венценосная тетка еще живет и царствует». Взоры всех мгновенно обратились на меня; великий князь, к моему счастью, замолчал, только высунув язык, который он обыкновенно показывал попам в церкви ради собственного развлечения и когда был вообще не в духе; это заставило меня сдерживать дальнейшие возражения. Так как это происходило в присутствии многих гвардейских офицеров и корпусных кадетов, которыми управлял великий князь, то на другой день этот разговор молнией разнесся по Петербургу и приобрел мне огромную популярность, которой я, впрочем, не дорожила. Лестный отзыв великой княгини о моем споре с Петром утешил меня, но я в это время еще не понимала всей опасности говорить истину царям. Согласимся, что они сами, может быть, и простили бы это преступление, но его никогда не простят их куртизаны! Как бы то ни было, но это ничтожное обстоятельство и еще несколько смелых поступков принесли мне в общественном мнении репутацию отважного и твердого характера; тому же я

обязана доверием и энтузиазмом, с которым друзья Дашкова, гвардейские офицеры, стали с этой минуты смотреть на меня.

Между тем, здоровье императрицы быстро разрушалось; не надеялись, что она может пережить эту зиму. Я разделяла прискорбие, которое чувствовали многие из моих домашних и в особенности канцлер, не потому только, что любила государыню, но я также ясно видела, чего должна была ожидать Россия от наследника – человека, погруженного в самое темное невежество, не заботящегося о счастье его народа, готового управлять с одним желанием – подражать прусскому королю, которого он величал в кругу своих голштинских товарищей не иначе как «король, мой господин».

Около середины декабря было объявлено, что Елизавета не проживет нескольких дней. Я в это время занемогла и лежала в постели, но, опасаясь за участь великой княгини в случае перемены царствования решила действовать. 20 декабря, в полночь, я поднялась с постели, завернулась в теплую шубу и отправилась в деревянный дворец на Мойке, где тогда жила Екатерина и прочие члены царской семьи. Выйдя из кареты на некотором расстоянии от дворца, я прошла пешком к заднему крыльцу, чтоб невидимкой юркнуть в комнаты великой княгини. К моему величайшему счастью, которое, может быть, спасло меня от роковой ошибки в неизвестном доме, я встретила первую горничную, Катерину Ивановну. Так как она знала меня, я попросила немедленно проводить меня в комнаты великой княгини. «Она в постели», – сказала старушка. «Ничего, – отвечала я, – мне непременно надобно говорить с ней сейчас же». Служанка, которой была известна моя преданность ее госпоже, несмотря на неурочный час, не противилась больше и провела меня в спальню. Екатерина знала, что я больна, а потому не в состоянии выходить в такой холод и притом ночью, да еще во дворец; она едва поверила, когда доложили обо мне. «Ради Бога, – закричала она, – если это действительно Дашкова, ведите ее ко мне немедленно!» Я нашла ее в постели и не успела еще раскрыть рот, как она сказала: «Милая княгиня, прежде чем вы объясните мне, что вас побудило в такое необыкновенное время явиться сюда, отогрейтесь; вы решительно пренебрегаете своим здоровьем, которое так дорого мне и Дашкову». Затем она пригласила меня в свою постель и, завернув мои ноги в одеяло, позволила говорить. «При настоящем порядке вещей, – сказала я, – когда императрица стоит на краю гроба, я не могу больше выносить мысли о той неизвестности, которая ожидает вас с новым событием. Неужели нет никаких средств против грозящей опасности, которая мрачной тучей висит над вашей головой? Во имя неба, доверьтесь мне; я оправдаю ваше доверие и докажу вам, что я более чем достойна ее. Есть ли у вас какой-нибудь план, какая-нибудь предосторожность для вашего спасения? Благоволите ли вы дать приказания и уполномочить меня распоряжением?»

Великая княгиня, заплакав, прижала мою руку к своему сердцу: «Я искренно, невыразимо благодарю вас, моя любезная княгиня, и с полной откровенностью объявляю вам, что я не имею никакого плана, ни к чему не стремлюсь и в одно верю: что бы ни случилось, я все вынесу великодушно. Поэтому поручаю себя провидению и только на его помощь надеюсь». – «В таком случае, – сказала я, – ваши друзья должны действовать за вас. Что же касается меня, я имею довольно сил поставить их всех под ваше знамя: и на какую жертву я не способна для вас?» – «Именем Бога умоляю вас, княгиня, – продолжала Екатерина, – не подвергайте себя опасности в надежде остановить непоправимое зло. Если вы из-за меня потерпите несчастье, я вечно буду жалеть». – «Все, что я могу в настоящую минуту сказать: верьте, что я не сделаю ни одного шага, который бы повредил вам; как бы ни была велика опасность, она вся упадет на меня. Если бы моя слепая любовь к вам привела меня даже к эшафоту, вы не будете его жертвой». Великая княгиня, вероятно, продолжала бы и упрекнула меня в неопытности и юношеском энтузиазме, но я, прервав, поцеловала ее руку и уверила, что нет надобности далее рисковать продолжением этого свидания. Тогда она горячо обняла меня, и мы несколько

минут оставались в объятиях друг у друга; наконец я встала с постели и, оставив взволнованную Екатерину, поспешила сесть в карету.

По приезде домой я нашла князя, только что возвратившегося и до крайности изумленного отсутствием своего инвалида. Но когда я сообщила ему свою решимость помочь России спасением великой княгини, он одобрил и рукоплескал моей энергии, дружеской преданности, попросив только не подвергать мое здоровье опасности. Он провел этот вечер у моего отца; из их разговора, переданного мне Дашковым, при всей скромности моего отца ясно было видно общее беспокойство по случаю близкой перемены. Я была так довольна этим известием, что забыла и об усталости, и о болезни, и о той опасности, которой подвергала себя.

Глава III

Декабря 25-го, в самый день Рождества, императрица Елизавета скончалась. Несмотря на обычное торжество праздника, Петербург встретил это событие печально; на каждом лице отразилось чувство уныния. Впрочем, некоторые уверяют, что гвардия совсем иначе чувствовала; она весело шла во дворец присягать новому государю. Два гвардейских полка, Семеновский и Измайловский, проходили под моими окнами: насколько я могла заметить, в движении их не было видно ни особенной торопливости, ни восторга – это мог подтвердить и любой житель города. Напротив, вид солдат был угрюмый и несамодовольный; по рядам пробегал глухой, сдавленный ропот: если бы мне была неизвестна причина этой суматохи, я ни одну минуту не сомневалась бы в том, что императрица умерла.

Я еще не выходила из комнат, а дядя мой, канцлер, лежал больной в постели. Между тем, к крайнему нашему удивлению, на третий день своего восшествия на престол император посетил моего дядю, а ко мне прислал посла, желая видеть меня вечером во дворце. Я извинилась под предлогом нездоровья, как и на следующий день, когда приглашение повторилось. Спустя два или три дня сестра уведомила меня, что государь сердится на мои отказы и не хочет верить в искренность их предлогов. Чтобы избежать неприятных объяснений и выговоров, которые могли повредить моему мужу, я покорилась и, навестив своего отца и дядю, поехала во дворец. Императрица, о которой я слышала только от камердинера, никого не принимала. Пораженная настоящим горем, она уединилась в своих покоях и покидала их только для исполнения религиозного долга над телом умершей государыни.

Как только я появилась на глаза императора, он стал говорить со мной о предмете, близком его сердцу, и в таких выражениях, что нельзя было больше сомневаться насчет будущего положения Екатерины. Он говорил шепотом, полунамеками, но ясно, что он намерен был лишить ее трона и возвести на ее место Романовну, то есть мою сестру. Таким образом объяснившись со мной, он дал мне несколько полезных уроков. «Если вы, дружок мой, – сказал Петр III, – послушаетесь моего совета, то дорожите нами немного побольше. Придет время, когда вы раскаетесь за всякое невнимание, оказанное вашей сестре. Поверьте мне, я говорю ради вашей же пользы; вы не можете иначе устроить вашу карьеру в свете, как изучая желания и стараясь снискать расположение и покровительство ее».

В эту минуту невозможно было ничего дельного сказать, и я притворилась, будто не поняла его, и поспешила сесть с ним за игру в *Campis*. В этой игре каждый имеет несколько жизней: кто переживает, тот и выигрывает. На каждый очок ставилось десять червонцев, сумма слишком щедрая для моего кошелька, особенно когда император проигрывал: он, вместо того чтобы отдать свою жизнь, согласно с правилами игры, вынимал из кармана империал, бросал его в пульту и с помощью этой уловки всегда оставался в выигрыше. Одна партия кончилась, государь предложил другую, я отказалась. Он настаивал, я не соглашалась; тогда он предложил держать половину ставки против него; я и этого не хотела. Наконец тоном рассерженного ребенка (он считал меня не выше того) я решительно сказала, что не так богата, чтобы поддаваться обману: если бы государь играл подобно другим, тогда еще можно было бы попробовать. Император добродушно проглотил мое резкое выражение и отделался обычным своим шутовством; после этого я ушла. Обыкновенно участниками картежных вечеров Петра III были двое Нарышкиных с их женами, Измайлов с супругой, Елизавета Дашкова, Мельгунов, Гудович и Анжерн, первый флигель-адъютант государя, графиня Брюс и еще два-три имени, забытые мной. Все с удивлением взглянули на меня и, когда я вырвалась из их круга, они, подобно голштинским генералам в Ораниенбауме, в один голос произнесли: «Это бес, а не женщина!»

Мне надо было проходить ряд комнат, где толпились другие придворные. Я заметила странную перемену в костюмах, это был настоящий маскарад. Трудно было не улыбнуться,

когда я увидела князя Трубецкого, старика, по крайней мере семидесяти лет, вдруг принявшего воинственный вид и в первый раз в жизни затянутого в полный мундир, перевязанного галунами подобно барабану, обутого в ботфорты со шпорами, как будто он готовился сейчас вступить в отчаянный бой. Этот несчастный придворный адепт, подобно уличным бродягам, притворялся хилым, убогим, теперь же ради какого-то личного расчета прикинулся страдающим подагрой, с толстыми, заплывшими ногами. Но едва объявили, что идет император, он шариком вскочил с кушетки, вооруженный с ног до головы, и немедленно встал в ряд измайловцев, к которым он был назначен лейтенант-полковником и наскучил всем своими приказами. Это страшное привидение было некогда храбрым воином – обломком петровской эпохи!



Петр III Федорович (урожденный Карл Петер Ульрих, нем. Karl Peter Ulrich) – (1728–1762) – российский император в 1762, первый представитель Гольштейн-Готторп-Романовской династии на российском престоле. С 1745 года – владетельный герцог Гольштейн-Готторпский. Внук Петра I – сын его дочери Анны. Художник – Л. К. Пфанцельт. Коронационный портрет императора Петра III Федоровича. 1761 г.

Когда происходило шутовство при дворе нового императора, обычные почести у гроба покойной государыни шли своим чередом. Тело ее стояло шесть недель; около него попеременно дежурили статс-дамы. Императрица, как из-за чувства искреннего уважения к памяти своей тетки и благодетельницы, так и желая возбудить к себе внимание со стороны общества, навещала прах Елизаветы каждый день. Иначе вел себя Петр III. Он редко заходил в похоронную комнату, а если и бывал, то как будто для того, чтобы показать всю свою пустоту и презрение к собственному достоинству. Он шептался и смеялся с дежурными дамами, передразнивал попов и замечал недостатки в дисциплине офицеров и даже простых часовых, недостатки в одежде, в повязке галстуков, в объеме буклей и в покрое мундиров. Между иностранными министрами, находившимися в то время в Петербурге, очень немногие пользовались авторитетом при дворе, немногие также питали и расположение к императору. За исключением прусского, один английский посланник Кейт был в милости у Петра III. Князь Дашков и я были на самой короткой ноге с этим почтенным старым джентльменом; он так нежно любил меня, словно я в самом деле была его дочерью, – так он обыкновенно называл меня. Однажды, находясь в его доме, где были только мы и княгиня Голицына, Кейт, заговорив об императоре, заметил, что тот начал свое царствование оскорблением народа и, вероятно, кончит его общим презрением к себе.

Между тем государь пожелал ужинать у моего дяди, что было крайне неприятно старику, потому что он едва мог вставать с постели. Сестра моя, графиня Бутурлина, князь Дашков и я хотели присутствовать за столом. Император приехал около семи часов и просидел в комнате больного канцлера до самого ужина, от которого тот был уволен. Елизавета Дашкова, графиня Строганова и я, чтобы почтить ужин почетного гостя, стояли за стулом или, лучше сказать, бегали по комнате, что было совершенно по вкусу Петру III, небольшому любителю церемоний. Мне случилось стоять за креслом государя в то время, когда он разговаривал с австрийским посланником, графом Мери. Речь шла о том, как он некогда был послан своим отцом (в то время Петр еще жил в Голштинии, в Киле) в поход против богемцев, которых он с одним отрядом карабинеров и пехоты немедленно обратил в бегство. Во время этого рассказа австрийский посланник, как я заметила, часто краснел и видимо смешался, не зная, как понимать государя: что тот разумеет под именем богемцев – блуждающих цыган, живущих воровством и пророчеством, или подданных его королевы? Это замешательство могло быть тем серьезнее, что недавно было приказано вывести русские войска из Австрии, – приказание, очевидно, вовсе не миролюбивого характера. Я наклонилась к императору и тихо по-русски попросила его не рассказывать таких историй иностранным министрам, потому что, сказала я, если бы в Киль зашли кочующие цыгане, отец его, верно, приказал бы выгнать их, а не великого князя, в это время еще ребенка. «Вы дурочка, – отвечал государь, обернувшись ко мне, – и любите перечить мне». Петр III, к моему счастью, пил вина вдоволь и позабыл мое возражение на его историю.

Однажды вечером я была во дворце. Государь к концу своего любимого разговора о прусском короле громко подозвал к себе Волкова и заставил его подтвердить, как они часто смеялись над тем, что секретные распоряжения Елизаветы, отдаваемые армии в Пруссию, оставались без действия. Это открытие очень изумило все общество, бывшее с государем. Дело в том, что Волков, главный секретарь верховного совета, в заговоре с великим князем постоянно парализовал силу этих распоряжений, передавая копии их прусскому королю; секретарь имел

еще остатки совести, крайне смешался при таком объяснении и от каждого царского слова готов был свалиться со стула. Император, однако, не заметив общего изумления, с гордостью вспоминал о том, как он дружески служил явному врагу своей страны.

Среди новых придворных изменений французская мода заменила русский обычай низко кланяться, склонять голову в пояс. Попытки старых барынь пригибать колени, согласно с нововведением, были вообще очень неудачны и смешны. Император находил в этом особенное для себя удовольствие; чтобы посмеяться, он довольно регулярно ходил в придворную церковь к концу обедни и здесь имел случай дать полную волю хохоту, глядя на гримасы и ужимки приседающих дам. Старуха Бутурлина, свекровь моей сестры, принадлежала к числу этих мучениц; однажды, помнится мне, она чуть-чуть не хлопнулась на пол; но, к счастью, ее поддержал кто-то из добрых людей.

После всех этих сцен, описанных мной, легко вообразить, как государь заботился о своем сыне и его воспитании. Старший Панин, бывший наставником молодого князя, часто выражал желание, чтобы государь обратил внимание на успехи учения его питомца своим личным присутствием на экзамене, но император извинялся под тем наивным предлогом, что он «ничего не смыслит в этих вещах». Впрочем, вследствие усиленных просьб двух его дядей, принцев голштинских, он решил удовлетворить желание Панина, и великий князь был представлен ему. Когда испытание кончилось, государь громко сказал своим дядям: «Господа, говоря между нами, я думаю, что этот плутишка знает эти предметы лучше нас». Затем в знак одобрения он пожаловал того в капралы гвардии. Панин возражал против такой награды, убежденный, что она вскружит голову царевичу и даст ему повод думать, что он уже человек. Император, не сообразив этого на первый раз, согласился отменить свое распоряжение, но поспешил вознаградить наставника чином генерала от инфантерии.

Чтобы понять полностью то впечатление, которое произвела на Панина эта царская милость, надобно представить высокую бледно-болезненную фигуру, искавшую во всем удобства, жившую постоянно при дворе, чрезвычайно шепетильную в своей одежде, носившую роскошный парик с тремя распудренными и позади смотавшимися узлами, короче – образцовую фигуру, напоминавшую старого куртизана времен Людовика XIV. Капральский тон, составлявший преобладающий характер Петра III, был более всего ненавистен Панину. Поэтому, когда на следующий день Мельгунов объявил ему эту почесть, Панин решительно сказал, что если нет других средств избежать этой слишком высокой для него награды, он решается немедленно бежать в Швецию. Император с необычайным удивлением услышал о таком отказе. «Я всегда думал, – сказал он, – что Панин человек умный, но не говорите мне больше о нем». Впрочем, государь уступил и на этот раз своему неудачному выбору, помирив дело на том, что дал Панину право на все гражданские отличия, связанные с чином генерала от инфантерии.

Я должна упомянуть здесь о связи между князем Дашковым и Паниными. Двое из них были двоюродными братьями моей свекрови, то есть по законам русского родства дядями моего мужа. Хотя у нас это родство считается далеким, тем не менее его признают многие поколения; в настоящем случае оно скреплялось более прочными узами любви и благодарности. Старший брат, когда я еще была ребенком, служил при иностранных миссиях. Мое знакомство с ним незадолго до революции отнюдь не было коротким, но потом между нами возникла дружба, послужившая предлогом для клеветы моих врагов, которую не могла обезоружить даже всем известная пламенная любовь к моему мужу. Этот старый дядя прослыл моим любовником, а некоторые называли его даже моим отцом; многие, желая снять с меня первый позор, бросали тень на репутацию моей матери. Если бы Панин не оказал некоторых действительных услуг моему мужу и детям, я думаю, что после всех этих сплетен мне трудно было бы удержаться от ненависти к нему как к виновнику, хотя и невольному, этой черной клеветы. Говоря откровенно, я находила гораздо больше удовольствия в обществе младшего Панина, генерала, солдатская откровенность и мужество характера которого совершенно согласовались

с искренностью моей природы. Пока жива была его первая жена, которую я душевно любила, я видела в нем гораздо больше, чем министра... Но довольно о предмете, слишком тягостном для меня даже по сию пору.

Глава IV

В январе 1762 года случилось очень неприятное обстоятельство и очень важное для меня по своим последствиям. Одним утром во время гвардейского парада какой-то полк проходил ко дворцу. Император, заметив его неправильный марш и вообразив, что им командует князь Дашков, подбежал к нему и в духе грубого сержанта выругал за этот проступок. Дашков почтительно защищал себя, но, когда император снова стал обвинять его, он, естественно, разгоряченный и встревоженный последним выговором, где затрагивалась его честь, ответил так энергично и жестко, что Петр III немедленно дал ему отставку, по крайней мере так же поспешно, как и возвысил его.

Я сильно перепугалась, узнав об этом происшествии. Во всяком случае, оскорбление государя не могло пройти без наказания, особенно когда Петр III был окружен такими советниками, которые позаботились бы придумать более хладнокровный способ вредить служебным интересам, а может быть, и жизни моего мужа. Поэтому дилемма была такого рода, что князю надо было выбирать одно из зол: или остаться в Петербурге и идти против царского гнева и тем, разумеется, еще больше восстановить его против себя, или обречь себя на добровольное изгнание, пока какая-нибудь политическая перемена не даст делу другого направления либо пока не забудет царь. Друзья советовали решиться на последнее. Я со своей стороны, как ни велика была борьба с сердцем, не противоречила их мнению. Мой ум уже давно свыкся с представлением тех опасностей, которыми это царствование угрожало благу нашего Отечества. Доказательством этого беспокойства, между прочим, служило мое ночное посещение Екатерины. И хотя мои планы были чрезвычайно шатки, одна мысль преследовала мое воображение и воодушевляла какой-то вдохновенной верой, что революция недалека. Как бы ни было трудно и как бы ни верна была опасность, я решила идти вперед; благоразумие, любовь, интерес – все заставляло уступить сердцем разлуке с мужем. Дашков, успокоенный советами его друзей, изыскивал более благовидный предлог для своего удаления. В это время, как мне было известно, еще не все послы были назначены к иностранным дворам с известием о восшествии на престол Петра III. Я попросила великого канцлера похлопотать о назначении мужа в одну из соседних миссий. Просьба моя была немедленно исполнена, и Дашков, получив приказание ехать в Константинополь, тотчас же оставил Петербург. С каждой почтой я получала от него письма. Князь, путешествуя неспешно, остановился в Москве и проводил свою мать до Троицкого, лежавшего по дороге в Киев, где и находился еще в начале июля.

Император продолжал свою обычную жизнь и, казалось, гордился ненавистью к себе в народе. Когда был заключен мир с прусским королем, к которому его привязанность каждодневно выражалась каким-нибудь безумным поступком или смешным подражанием, восторг императора был выше меры; и, чтобы отпраздновать на славу это событие, он дал великолепный пир, на который были приглашены все чины первых трех разрядов и иностранные министры. Императрица сидела в середине стола, на своем обычном месте, а государь на другом конце, против прусского посланника. После обеда Петр III предложил тост при пушечной пальбе с крепости. Первый тост – «за здоровье императорской фамилии»; второй – «за здоровье прусского короля», третий – «за продолжение счастливо заключенного мира». Когда императрица выпила бокал за здоровье царского семейства, Петр III приказал своему генерал-адъютанту Гудовичу, стоявшему позади его стула, подойти и спросить Екатерину, почему она не встала, когда пила тост. Государыня отвечала, что так как императорская семья состоит из ее супруга, сына и ее самой, то она не думала, чтобы это было необходимо. Гудович, передав этот ответ, был снова послан сказать ей, что она дура и должна бы знать, что двое дядей, принцы голштинские, также члены венценосной семьи. Опасаясь, впрочем, что посол смягчит выражения, он повторил все это громко, так что большая часть общества слышала его. Екатерина,

skonфуженная и обиженная этой оскорбительно-неприличной выходкой, залилась слезами, но, желая оправиться и рассеять общее замешательство, обратилась к моему двоюродному брату, графу Строганову, стоявшему за ее стулом, и просила развлечь ее какой-нибудь шуткой. Граф, придворный юморист, всегда был готов удовлетворить желание государыни. Скрыв свое собственное неудовольствие, он весело стал рассказывать какой-то забавный анекдот, не совсем, впрочем, забывая о своих врагах, окружавших императора, в числе которых находилась его жена, конечно не пропустившая настоящего случая представить поступок своего мужа в дурном свете. Как только кончен был его рассказ, Строганову приказано было удалиться в загородный дом близ Каменного острова и не выходить из него впредь до особого разрешения.

Происшествия этого дня быстро разнеслись по городу; и, по мере того как Екатерина возбуждала к себе сочувствие и любовь, император по закону обратного действия глубже и глубже падал в народном мнении.

Из всех этих обстоятельств, оправданных несчастной судьбой этого монарха, можно извлечь поучительный пример. Кажется, ничто не может так сильно подрывать царскую власть в глазах народа, как самовольная тирания; поэтому я всегда считала ограниченную монархию, где государь подчиняется законам и в некотором отношении отвечает перед судом общественного мнения, самым лучшим человеческим правлением.

По одному особенному случаю император в сопровождении двух голштинских принцев и обычной своей свиты навестил моего дядю, канцлера. Будучи не совсем здорова, я была рада, что не могла участвовать в этой чести, говоря правду, совсем неутешительной, точно так, как и Екатерина никогда не вмешивалась в эти удовольствия, за исключением своих прогулок на чистом воздухе. На другой день я с удивлением услышала о трагикомической сцене, разыгранной Петром III и голштинским принцем Георгом. Среди какого-то спора, в азартной защите каждым своего мнения они обнажили мечи и бросились друг на друга. Старый барон Корф, родственник моей тетки, упал на колени между врагами и, закричав истошным голосом старой бабы, божился, что не допустит ни одного удара, не умертвив себя здесь же на месте. Это удачное посредничество барона, любимого обоими соперниками, и человека в самом деле достойного остановило драку, которая разрешилась одним дурным последствием – беспокойством моего больного дяди, извещенного теткой в самый момент начинавшейся схватки. Потом я слышала о многих потешных перебранках между дядей и племянником, пока государь не уехал инспектировать кронштадтский флот, готовый выступить против Дании. Это воинственное предприятие под конец так завладело его мозгом, что он не мог отменить его даже в силу красноречивых и настоятельных просьб прусского короля.

После разлуки с мужем я не щадила никаких усилий, чтобы одушевить, вдохновить и укрепить мнения, благоприятные осуществлению задуманной реформы. Самыми доверенными и близкими ко мне людьми были друзья и родственники князя Дашкова: Пасек, Бредихин – капитан Преображенского полка, майор Рославлев и его брат, гвардейский Измайловский капитан. Двух последних я не имела случая часто видеть до самого апреля, когда мне нужно было увериться в чувствах солдат. Впрочем, чтобы отвести всякое подозрение, я продолжала вести обычный образ жизни, изредка посещая своих родных и знакомых. С виду занятая всеми требованиями моего пола и возраста, я казалась далеко не тем, что происходило в глубине моей души, и была горячо преданна государственным интересам.



Михаил Илларионович Воронцов (1714–1767) – русский государственный деятель и дипломат, которому обязан своим возвышением род Воронцовых. Один из ближайших приближенных Елизаветы Петровны и Петра III, участник дворцового переворота 1741 года. С 1744 года – вице-канцлер, в 1758–1765 гг. – канцлер Российской империи. Строитель и первый владелец Воронцовского дворца в Санкт-Петербурге и Воронцовой дачи на Петергофской дороге. Дядя графини Екатерины Романовны Дашковой

Как скоро определилась и окрепла моя идея о средствах хорошо организованного заговора, я начала думать о результате, присоединяя к моему плану некоторых из тех лиц, которые своим влиянием и авторитетом могли дать вес нашему делу. Между ними был маршал

Разумовский, начальник Измайловской гвардии, очень любимый своим корпусом. Он, хотя и жалюемый при дворе, понимал всю неспособность царствующего монарха и опасность его правления. Правда, он любил Россию настолько, насколько его придворная апатия позволяла ему что-нибудь любить. Но богатый, осыпанный всевозможными почестями, ленивый, готовый отступить от всякого опасного и сомнительного предприятия, на что он мог быть употреблен в настоящем случае? Как, однако, ни был тернист путь, избранный мной, я не робела при встрече с трудностями. Однажды, навестив английского посланника, я услышала отзыв, что гвардейцы обнаруживают расположение к восстанию, в особенности за датскую войну. Я спросила Кейта, не возбуждают ли их высшие офицеры. Он сказал, что не думает: генералам и старшим военным чинам нет выгоды возражать против похода, в котором их ожидают отличия. «Эти неосторожные слухи, – заметил он, – поведут за собой ряд военных наказаний, ссылки в Сибирь, и тем дело кончится».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.